

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

РАССКАЗ

Н. В. М. ГОНСАЛЕС

Автор публикуемого рассказа — известный филиппинский писатель. Его книги («Апрельские встры», «За семью холмами» и другие) завоевали широкую популярность в стране. Гонсалес играет видную роль в кругах прогрессивной филиппинской интеллигенции, выступает как литературовед и критик.

МАТРОС еще раз пошел к лодке, с которой уже были сняты весла, и вернулся, неся фонарь. Свет от фонаря выхватывал из темноты узкую тропинку и плоскую босую стопу матроса. Он шел неторопливой, шаркающей походкой, и фонарь у него в руке раскачивался в такт шагам.

— А побыстрее не можешь? — донесся из пальмовой рощицы старческий голос.

Матрос ничего не ответил — он продолжал идти все той же шаркающей походкой, не убыстряя и не замедляя шаг.

— Черепаха ты и больше никто, — сказал старик.

Когда матрос подошел поближе, в свете фонаря стал виден вход в шалаш. Затем овальное пятно света заглянуло на стены шалаша, сплетенных из листьев кокосовой пальмы. Пройдя по подстилке из листьев, набросанных на полу, старик повесил фонарь на жердь в глубине шалаша. В дальнем углу боком ко входу сидела женщина.

— Ну и болван ты, сушая черепаха, ей-богу, — сказал старик, обращаясь к матросу.

— Га? — прогнусавил тот.

Старик и не ждал иного ответа. У матроса было что-то неладно с языком.

— А где же джутовые мешки и одеяла? — спросил старик. — Ведь я велел тебе их принести.

— Га? — только и сказал матрос.

— Перестань! — сердито бросил старик. — Если бы ты не уродился такой, задал бы я тебе сейчас. — Взмахом руки он приказал матросу идти прочь. — Ступай! Заодно принеси воды. Кто его знает, есть ли здесь поблизости питьевая вода. Ужин приготовить, Марта?

— Нет, спасибо вам, — ответила женщина.

— А лучше бы все-таки что-нибудь приготовить. У нас в лодке есть банка лососины.

Матрос, шаркая ногами, ушел в темноту; пальмовые листья мягко шуршали под его ногами.

— Принеси лососину. И котелок с рисом захвати. Он стоит на печке! — крикнул старик вдогонку матросу.

Где-то резко прокричала птица. Старик снова обратился к женщине:

— Ты бы на минутку вышла, Марта...

— Мне и здесь хорошо, дяденька, — сказала она.

— Ты бы походила, что ты все сидишь?..

— Здесь, по-моему, лучше, — сказала женщина.

Но потом согласилась: — Ну, ладно.

— Я разведу костер, — сказал старик.

Снова раздался крик птицы, дикий, тоскливый.

— Эти птицы — оборотни. Уж я точно знаю, — сказала женщина. — Они таскают новорожденных детей.

— Нет, это не оборотень, — сказал старик. Он сгреб в кучку сухие листья и ветки, и через минуту разгорелось яркое пламя.

— Да, самое подходящее время рожать, верно, дяденька?

— На все воля божья, — ответил старик. Марта тихонько усмехнулась.

— Все сделаем, что только можно. А ты походи, надо ноги размять. Если станет очень больно, схватись вон за ту пальму.

— Да мне, дяденька, и так хорошо, — сказала Марта.

Огонь затрещал, и старик подбросил туда еще листьев и веток. Пламя осветило высокие стволы кокосовых пальм. Сквозь их ветви проглядывало небо, но звезд не было. Ночь погрузилась в глубокое, боязливое молчание, которое нарушалось лишь потрескиванием костра.

Женщина стала прохаживаться взад и вперед, не осмеливаясь шагнуть за пределы круга, освещенного костром.

щенного огнем. Она была приземистая, крепко сбитая, руки и ноги — сильные, мускулистые, как у мужчины. Если бы ей обрезать волосы, а вместо юбки надеть штаны, она вполне бы сошла за мужчину, несмотря на вздутый живот и большую грудь.

Старик следил за ней с неутолимым любопытством. Так же, как и он, женщина была в гимнастерке с закатанными рукавами. Юбка у нее была из плотной серовато-коричневой материи — явно перешитая из рабочей одежды, выброшенной американским солдатом.

— Это его имя здесь напечатано? — спросил старик.

В свете огня на спине тускло-зеленоватой гимнастерки явно виднелся белый штамп: «Теодор К. Ковард».

— Нет, дяденька, не его, — сказала Марта. — Но зато он дал мне три шерстяных одеяла.

— Расщедрился, — сказал старик.

— А что, дяденька, разве нет? Ты меня, пожалуйста, не дразни.

— Да ведь как сказать, другим платят больше. За работу то есть. Ты прачкой работала?

— Прачкой, дяденька. А потом мы стали жить вместе. Три недели прожили. В домике на Верхнем Мангиане. Оттуда весь их лагерь видно. — Говоря это, она держалась за ротанговую веревку, которой была подпоясана гимнастерка. — Больно-то как... Я, значит, брала там стирку, чтобы на жизнь заработать. За тем туда и ходила.

— Ну и как, заработала?

— Нет, дяденька, я за деньгами не гонюсь. Он мне однажды говорит: «Вот тебе двадцать песо». — Она рассмеялась. — Он когда со мной говорил, бывало, ни за что по имени не назовет, будто у меня имени нет. Другое — кому я только стирала и больше ничего — те мне прозвище дали: Черносливина. Я помню. Черносливина — вот как они меня звали. А что это такое, дяденька? Они говорили — фрукт такой.

— Не знаю, — ответил старик. — В нашей стране таких фруктов нету.

— А он так даже и Черносливину меня не называл. Хотел мне денег дать, я уж тебе говорила. «Для чего?» — спрашиваю. А он говорит: «Отдашь матери». А у меня матери нет, так я ему и сказала. «Ну, — говорит, — тогда отдай отцу, братьям, сестрам». А у меня родных никого нет, я ему так и сказала. «Возьми свои деньги обратно, — говорю. — Я люблю тебя, возьми свои деньги обратно». А он обозлился, стал ругаться. Потом совсем ушел из дому. Больше я его не видела. Но он оставил мне три шерстяных одеяла.

Старик слушал ее с большим интересом, но, когда она кончила, ничего не сказал, только поднялся и стал старательно перекладывать ветки в костре.

— Нет, дяденька. Зря ты думаешь, что я хоть сколько-нибудь заработала, — сказала Марта. Она сделала несколько шагов и снова вернулась к костру. — А кстати, дяденька, сколько ты возьмешь, чтобы довезти меня на твоей лодке до Сан-Паулино?

— Ты там живешь?

Она кивнула.

— С тебя ничего не возьму. Ни одного сентаво.

— Я могу тебе отдать одно из своих шерстяных одеял.

— Подвезу тебя совершенно бесплатно.

— Наверно, ты про меня думаешь: «Ну и дура! Не знает, когда ей родить, — подумать только!» А для меня, дяденька, все дни одинаковые. И но-

чи тоже. Не умею я считать дни и месяцы. Может, я, дяденька, поэтому и старая не стану. Стану я старая, как думаешь?

Старик не нашел, что ответить, только усмехнулся.

— А теперь вот я собралась домой. Ну разве я не дура, дяденька?

Чтобы подбодрить ее, старик сказал:

— Да, дура ты изрядная. Хорошо еще, что наткнулась на мою лодку, верно?

— Правда, повезло, — сказала Марта. — Мне надо было оттуда обязательно уйти. Правда, может, время мое еще не пришло. Я долго шла: сначала от Верхнего Мангиана, потом три дня по берегу, пока не увидела вашу лодку. Может, я только еще на седьмом месяце. А девять месяцев — это сколько, дяденька?

Старику хотелось ответить ей поточнее.

— Это девять месяцев, — сказал он наконец.

— Понятно. Вы, старики, столько всего знаете. Да ты не смейся, дяденька. Я ведь раньше была замужем — муж мой, он тоже был старик. Пусть ему земля будет пухом. Ой, больно как! Вон тут, как раз в этом месте. — Она показала, где ей больно. — Говорят, если ходить, будет легче. — Под ее босыми ногами слегка похрустывали листья. Она ходила взад и вперед и все говорила, говорила, словно для того, чтобы отвлечься.

— Тот старик, он был портной. Я, понимаешь, жила в служанках у одного богача в доме. А этот портной однажды и говорит: «Зря ты, Марта, так надрываешься. Давай лучше со мной жить». Ох и хитрые вы, мужчины. Верно, дяденька?

— Не без того, — признался старик. — Попадают и хитрые, ничего не скажешь, — с готовностью подтвердил он.

— Он, портной, значит, увидел, какая я работающая... А я, правда, работающая — что верно, то верно. Такой уж меня бог создал. Здоровая, как буйвол, — как же тут лениться? Я любую мужскую работу могу делать. Для вашего брата я женщина подходящая. Мой портной был доволен. Я ему сразу — и мужик и баба. Он от радости даже портняжить бросил, все ходил по соседям, говорил про политику и про всякое такое. — Она умолкла. Потом, словно что-то вспомнив, сказала: — А ребенка он мне не оставил. Ох, дяденька, как же он меня обдурил!

— Да у тебя скоро будет ребенок, чего ж тебе?

— Ну вот, значит, жила я с этим стариком-портным. Он был вдовый и все скучал один, так что со мной обходился ласково. Но в тот год, когда война началась, он умер от чахотки — он уж давно болел. А я опять пошла в дом к тому богачу, где раньше работала. Когда американцы вернулись, я говорю своему хозяину: «Ухожу от вас. Только ненадолго. Говорят, у них там, в военных лагерях, хорошо платят за стирку и всякое такое. Как накоплю денег, вернусь обратно». Вот так ему и сказала. Ой, ой, больно как!

— Пора бы матросу вернуться, — сказал старик. — Болит сильно?

— Ах, да что мне боль, дяденька! Я же тебе говорила — выносливая я, как буйвол. Он, портной мой, меня поколачивал. А мне хоть бы что. Я все могу снести. Я ему и дрова пилила, и рис толкла. А когда он умер — как же я по нем горевала! Ей-богу, дяденька.

Она рассмеялась — ей вдруг самой показалось забавным, как она обо всем этом рассказывает. Старик глядел на нее с насмешливым любопытством.

— А ребенка ты домой понесешь? В Сан-Паулино? — спросил он.

— А то как же, дяденька! Он ведь будет малюсенький, беспомощный. А почему ты спрашиваешь?

Старик помедлил, но потом решил и сказал:

— Есть такие дома — в городе, к примеру — там принимают таких вот ребят и смотрят за ними.

— Но разве они смогут смотреть за ним лучше, чем я? Нет, дяденька, быть этого не может! — взволнованно сказала женщина. — Ой, больно как! Я хочу — ой! — сама за ним смотреть...

Отблески пламени осветили ее слабую улыбку. Лицо у нее было простое, ничем не примечательное, но глаза красивые — большие, смеющиеся.

Она замолчала. Внезапно появился матрос.

— Га! — сказал он.

— Подогрей-ка лососину на огне, — приказал ему старик. Он внес в шалаш джутовые мешки и одеяла и приготовил для женщины постель. Снаружи, в свете костра, было видно, как матрос открыл своим боло¹ жестянку с лососиной и стал пить сок прямо из банки.

— Ты что же, не можешь меня подождать? — старик выполз из шалаша, сердясь на матроса за то, что тот принял без него за еду, а заодно и на Марту, стонавшую все громче и громче.

— Что ты там визжишь, как свинья! — буркнул он сердито. Потом уселся у котелка с рисом, который принес матрос.

— А свиньи, дяденька, вовсе не так визжат, — ответила женщина как ни в чем не бывало.

Старик ничего не сказал. Он и матрос торопливо ели, громко чавкая.

— Га! — с обычной своей беспомощностью сказал матрос и поглядел в сторону Марты.

— Ей есть не хочется. Так она говорит, — объяснил старик и, обращаясь к Марте, добавил: — Если тебя так сильно схватило, иди в шалаш. Мы оставим на твою долю рыбы. Потом, после всего, тебе так есть захочется!

Марта послушалась его совета и вползла в шалаш. Она стукнулась головой о фонарь, свисавший с жерди, он закачался, и по полу заплескало пятно света.

— Сейчас иду к тебе, — сказал старик. — И почему ты меня выбрала для этого дела, сам не пойму. — Он словно был уже совсем не тот «дяденька», с которым только что разговаривала Марта. Внезапно он ощутил в себе что-то новое.

— Дяденька, — донесся из шалаша голос женщины, — как называется мужчина, когда он за поветуху?

Старик полоскал рот водой из жестянки, которую матрос принес с лодки. Кончив полоскать, он сказал:

— Ну и чертовка ты! Теперь-то я вижу! Обдурила меня. Все наперед знала... А ты куда хитрей, чем я думал...

В шалаше воцарилось молчание. Снова где-то далеко раздался крик ночной птицы — отчетливый, неотвязный.

— Га! Га! — сказал матрос, чтобы обратить внимание старика на этот крик, и показал пальцем в темноту. Но старик не повернул головы.

Молчание становилось напряженным. Из шалаша доносился только шорох — пальмовые листья, устилавшие пол, потрескивали под тяжело ворочающимся телом. Можно было и впрямь подумать,

что там поросится свинья. Свет фонаря падал на поднятые колени женщины. Она прикрыла их одеялом.

— Дяденька! — дико вскрикнула она вдруг.

Прежде чем войти в шалаш, старик поднял голову. Высоко в небе загорелась наконец одинокая звезда. Он видел ее сквозь листья пальм. Ему захотелось запомнить эту минуту. Хорошо бы еще увидеть луну — тогда точно узнаешь, сильный ли прилив; ведь потом он будет вспоминать обо всем этом. Но больше запомнить было нечего. Только одинокая звезда в небе.

— Ой, дяденька, боюсь! — крикнула Марта хриплым, срывающимся голосом. — Больно как! Смерть моя пришла, дяденька!

— Брось глупости болтать! — сердито сказал старик. — Молись богу. Бог милостив.

Руки и ноги у него тряслись. Он опустился на колени рядом с Мартой, готовый прийти ей на помощь.

— Ой-ой-ой! Дяденька, хоть бы мне помереть! Хоть бы мне помереть! — кричала она, стискивая его руку.

Когда матрос услышал писк ребенка, он радостно сказал: — Га! Га! — Ему захотелось взглянуть на малыша, но старик погнался за ним. — Уходи отсюда! — сказал он и замахал на него руками.

Матрос вернулся к огню и снова улегся. Ночь была теплая, тихая, и он скоро уснул. Потом рядом с ним под кокосовой пальмой лег и старик. Ноги их, обращенные к догоравшему костру, касались друг друга.

Сквозь листья пальмы старику было видно, как светлеет небо. Приближалось утро. Звезда по-прежнему смотрела на него сквозь густую листву. Все это время она наблюдала за ними оттуда, сверху.

Старик повернулся на бок и, подложив под голову руку вместо подушки, попытался уснуть. Матрос мирно похрапывал. Старику видна была Марта. Она лежала в шалаше на подстилке, вытянув ноги, а рядом с ней — завернутый в одеяло ребенок.

Старик так и уснул с мыслями о ребенке, потому что это был мальчик.

Его разбудил порыв ветра, и, открыв глаза, он сперва никак не мог понять, где находится. Потом он почувствовал радость от того, что сумел помочь женщине, и подумал — не обидел ли он ее чем-нибудь. Зря он обозвал ее свиньей. Надо бы с ней помягче. Он сел и увидел горевший в шалаше фонарь.

— Ну как, все в порядке? — крикнул он, услышав, что женщина зашевелилась.

Она ничего не ответила, только села медленно и осторожно, и тень ее укрыла ребенка, словно одеяло.

— Это та птица-оборотень, дяденька, — сказала она усталым голосом, прозвучавшим словно издалека. — Слышал, как кричала та птица? А теперь он помер, — он помер, дяденька!

Старик опустил фонарь, горевший слабым голубым пламенем. Ребенок, лежавший рядом с женщиной, был обмякший и серый, как одеяло, в которое его завернули.

Проснулся матрос. Он приподнялся, сел, обхватил колени руками, и уставился на старика.

— А ну, разожги костер, черепаха этакая! — закричал на него старик. — Совсем темно, не видишь, что ли?

— Га! — ответил матрос.

Перевела с английского
С. Митина

¹ Боло — длинный нож.